

**РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ:
О ПОДМЕНЕ «СОВЕТСКОГО» «РУССКИМ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЮТЧЕВСКОЙ ИСТОРИОСОФИИ)**

Одним из заметных культурных событий последних лет в России стал выход третьего тома Полного собрания сочинений и писем Ф.И. Тютчева, куда вошли все известные на сегодняшний день публицистические и историософские сочинения нашего поэта и мыслителя, написанные на французском языке¹. Особого внимания заслуживает новый перевод тютчевских текстов, выполненный Б.Н. Тарасовым, и его же комментарий к этим текстам.

Выходу в свет этого тома была посвящена рецензия С.Г. Бочарова «Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция», опубликованная в пятом номере журнала «Новый мир» за 2004 г. Затем расширенный вариант этой работы был опубликован в недавнем сборнике работ Бочарова². В сущности, последний не только оспорил ключевые положения современного комментария к историософскому наследию Тютчеву, но и важнейшие аксиологические установки Тютчева настолько неприемлемы для рецензента, что серьезность этих установок он словно бы пытается дискредитировать несколько странной в данном случае иронической стилистикой, основанной на нашем сегодняшнем мнимом «превосходстве» над прозрениями Тютчева: «Его пророчество не сбылось, и это *нетрудно сегодня заметить*»; «он произвел романтическую спиритуализацию явления Революции... и сообщил ей тем самым религиозную санкцию»; «Он увидел ее (Революцию. – И.Е.) как живое олицетворение, мифологическое существо»; эта «дальновидная богиня» (определение Константина Леонтьева) «дальше видевшая, как окажется, автора “России и Революции”»; «Бредни были воистину исполинские...»; «Тютчевский историософский романтизм... предавал себя иронии истории. *Грезы-бредни были исполинские...*»³.

Должен заметить, что должная и глубокая оценка этому весьма специфическому комментарию уже была дана⁴. Не могу не согласиться, что для сегодняшних опровергателей тютчевских «грез» и «бредней» характерен, прежде всего, «своеобразный

¹ См.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. Письма. В 6 т. М., 2003. Т. 3.

² См.: *Бочаров С.Г.* Филологические сюжеты. М., 2007. С. 293-311.

³ Там же. С. 300, 301, 303, 307. Курсив всюду мой.

⁴ См.: *Тарасов Б.Н.* Историософия Ф.И. Тютчева в современном контексте. М., 2006. С. 8-16.

редукционизм», при котором совершается «выделение из всей цепи, т.е. системы, одного звена, пусть сколь угодно важного и в каком-то смысле центрального, но составляющего лишь часть, которая не заменяет целого, а получает от места в нем свое истинное значение и подлинный смысл»⁵. Именно подобное «отклонение... с цепи на звено, с дерева на ветвь, с целого на часть, с абсолютного на относительное, иерархически первостепенного на второстепенное»⁶ было характерно для советского искажения русской истории, литературы и философии. И хотя Бочаров самокритично замечает: «мы привыкли тютчевскую политическую лирику отделять от его основной поэзии (и даже печатать ее отдельно, словно стихи второго тютчевского сорта)»⁷, чтобы затем отчасти скорректировать подобный подход⁸, однако, увы, та гуманитарная аксиология, которая, собственно, и приводила к подобной и многим другим хорошо известным «привычкам» очень явственно проступает и в нынешних суждениях талантливого литературоведа и не его одного («мы» здесь более чем уместно).

Если для Тютчева его Standpunkt'ом была *христианская* установка, по известному выражению И.С. Аксакова⁹, то для Бочарова место этого Standpunkt'a совершенно неожиданно – по крайней мере для меня – занимает уподобление России и С.С.С.Р. Такого уподобления можно было бы ожидать у совсем других авторов, старательно доказывающих непременно *русское* происхождение буквально всех советских грехов и преступлений.

Так, например, Дж. Кертис может сурово возложить на Достоевского ответственность за «монизм» генсека РАПША Леопольда Авербаха. Поскольку Достоевский, как выражается Кертис, «рекрутировал» имя Пушкина в своей знаменитой речи для «поддержания особой гордости русских»¹⁰, значит, именно Достоевский – а не кто-нибудь другой – и виноват за пушкинский юбилей 1937 года и вообще за 1937 год¹¹. Логика в данном случае такая: «Для Достоевского Пушкин велик потому, что велика Россия. Поскольку это тождество, его члены можно поменять местами: Россия велика, потому что велик Пушкин»¹². Поскольку тезис о величии России Кертис перенести никак не может, то он и резюмирует: «поняв подобные тождества..., становится совсем несложно понять официальную советскую критику, унаследовавшую от Достоевского апелляцию к

⁵ Там же. С.10.

⁶ Там же. С. 11.

⁷ Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 299.

⁸ Ср.: «и политические стихи обретают местами (правда, все же только местами)... историософскую мощь» (Там же).

⁹ См. письмо И.С. Аксакова И.С. Гагарину (Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. М., 1989. Кн. 2. С. 51). Ср.: Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном контексте. С.15-16.

¹⁰ Кертис Дж. Борис Эйзенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 150.

¹¹ См.: Там же. С. 149-151.

¹² Там же. С. 150.

тождествам в критическом дискурсе»¹³. В отличие от «мониста» Достоевского, Лев Троцкий, по мнению Кертиса, похвально придерживался «своего рода плюралистических взглядов»¹⁴. Таким образом, советский дискурс утверждал как раз Достоевский в своей Пушкинской речи!

Если верить Бочарову, «Главная идея его (Тютчева. – *И.Е.*) о России и Революции потерпела историческое поражение в 1917 г. Россия и Революция... совместились, революция стала судьбой России»¹⁵. Согласитесь, именно такие утверждения мы (если поиграть с бочаровским «мы»: оказывается, это наше якобы общее «мы» имеет на самом деле совершенно разные предикаты) то и дело встречали в советских исторических учебниках и трудах о «великом Октябре». Революция как «судьба» России – это Standpunkt всей советской пропаганды. Однако и советским идеологам все-таки не приходило в голову заявить, как это сделал Бочаров, будто именно «революция в лице СССР» взялась как раз «за реализацию тютчевского проекта»¹⁶.

Остается только лишь удивляться, почему в таком случае историософия Тютчева не преподавалась в советских школах. Ведь, согласно Бочарову, даже тютчевская «идея отдельной Восточной Европы будет политически реализована после 1945 г. – посредством Берлинской стены»¹⁷. Да, нечего сказать: в итоге головокружительного интеллектуального кульбита Тютчев выходит теперь буревестником революции и строителем Берлинской стены.

Мы-то полагали, что этот революционно-тоталитарный «проект» имеет совсем других авторов и героев, а оказалось, что в его основе – именно историософия Тютчева. В период *торжества* Революции над Россией какой-нибудь Осип Бескин мог травить крестьянских писателей за «россеянство» и заявлять: «Конечно, великодержавнику Клычкову никогда не понять, не дойти до того, что Октябрьская революция - не русская революция»; «Трудная задача превращать С.С.С.Р. в Р.У.С.Б.»¹⁸; теперь же – после поражения этой самой Революции – всю полноту ответственность за это поражение С.С.С.Р. (ведь *совместились* – настаивает Бочаров) вновь должна нести – вместе с Тютчевым – именно и только Россия. Поневоле вспоминается сказка о вершках и корешках. «Крайней» в любом случае оказывается Россия, а отнюдь не Революция: в период торжества Революции и С.С.С.Р. «наши» идеологи озабочены были тем, чтобы

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 123.

¹⁵ Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 309.

¹⁶ «... За реализацию тютчевского проекта возьмется та самая воплотившаяся, но в отечестве, революция в лице СССР» (Там же. С. 310).

¹⁷ Там же.

¹⁸ Бескин О. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика. М., 1930. С. 14, 24.

как-нибудь Россия и русские не «присвоили» себе плоды этих «побед», но за преступления и поражение С.С.С.Р. должна расплачиваться, согласно этой логике, как раз именно историческая Россия.

В свое время в постскрипуме к своей новомировской статье мне уже приходилось обращать внимание на весьма специфическое отношение нашей постсоветской «образованщины» к русской Катастрофе¹⁹. Поскольку этот постскрипум прямо касается затрагиваемых выше проблем, позволю себе привести его дословно.

Когда моя статья была уже передана в редакцию, в «Дружбе народов» (1993, № 10) появилась работа И. Дедкова с резким неприятием астафьевского произведения. Читая ее, как будто возвращаешься к противопоставлению «плохого» советского (сталинского) и советского «хорошего» (ленинского), так всем знакомому по перестроечной прессе. Для критика «казарменные ужасы», описываемые Астафьевым, - «явно из тех, что можно вытерпеть. Даже если кричать о них криком», а христианская вера мучеников «очень удобна». Критик словно бы лично обиделся на писателя за то, что «часть персонажей... не проходят в приличные люди по причине их “советскости”». Тогда как, по мнению И. Дедкова, «первопричина всех российских зол и бедствий» в том, что «революция переоценила свои силы». Сочувственно цитируя А. Воронского, с отвращением отзывающегося в 1932 году о «расейском» и с удовольствием констатирующего: «Революция вбивала бурсе осинový кол», - наш критик дважды в своей работе ностальгически сетует, что «кол давно сгнил». Ничего не поделаешь: у кого что болит... Вывод критика не очень оригинален: «В своем вечно ненасытном чреве революцию переварила старая российская бурса...». Бедная революция! Я не знаю, о чем будет печалиться читатель: об обитателях «чертовой ямы» или сгнившем коле революции. Не знаю также, чем утешить И. Дедкова. Разве только тем, что старания пламенных революционеров, вбивавших когда-то кол в неблагодарную русскую почву, не остались забытыми. Комиссия при Политбюро ЦК КПСС сумела объективно разобраться в их былых коммунистических заслугах, восстановив в партии кровавых деятелей зари коммунизма просто списками. Но не является ли клановая реабилитация «своих» лучшим и надежнейшим доказательством их вины перед целым – Россией и народом этой страны? Настоящим доказательством – в отличие от сфабрикованных сталинскими соколами правосудия доказательств их мифической вины перед партией и советским государством...

Я признаю полную свободу толкований русской и затем советской истории Бочаровым. Но все-таки, откровенно говоря, не понимаю, как можно при этом

¹⁹ См.: Есаулов И. Сатанинские звезды и священная война // Новый мир. 1994. № 4.

«опираться» на Тютчева, который настаивал на *христианском* призвании России и *антихристианском* духе Революции: «Уже давно в Европе существует только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества. <...> Прежде всего Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего – враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство. Ее последовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилия и преступления – все это частности и случайные подробности. А оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром»²⁰. Удивительно, как можно при рассмотрении философии истории Тютчева совершенно затушевывать, а тем самым и игнорировать *собственный (тютчевский) смысл* этих известных строк?

Как можно «забыть» о том, что «...все 20-е годы... во всех областях культуры последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации...»²¹? По наблюдению Л.Я. Гинзбург, относящемуся к 1926 году, «...у нас (в С.С.С.Р. - И.Е.) сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских. Даже еврейский национализм, разбитый революцией в лице сионистов и еврейских меньшевиков, начинает теперь возрождаться политикой нацменьшинств. Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия - слово, не одобренное цензурой...»²². Правда, следует тут же заметить, что сама Лидия Яковлевна усматривает в столь характерном «исключении» особый, «хоть и не логический, но исторический смысл»: «великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм)...»²³. Однако вряд ли подобное отношение можно объяснить только ближайшим историческим контекстом первого послереволюционного десятилетия: для тех, кто направлял развитие советской гуманитарной науки и культуры, и «в 1934 г. слова “Россия” и “русские” все еще несли на

²⁰ Тютчев Ф.И. Указ. соч. Т.3. С.144-145 (пер. Б.Н. Тарасова).

²¹ Солженицын А.И. Раскаяние и самоограничение // Из-под глыб. Париж, 1974. С.135.

²² Гинзбург Л. Записи 20-30-х годов // Новый мир. 1992. № 6. С.153-154.

²³ Там же. С.154

себе груз отрицательных значений...»²⁴. Как вспоминает А.И. Солженицын, «... да и даже само слово “русский”, сказать “я русский” - звучало контрреволюционным вызовом, это я хорошо помню и по себе, по школьному своему детству. Но без стеснения всюду звучало и печаталось: русопяты»²⁵.

Только что процитированный мною автор, более чем полвека своей жизни посвятивший изучению истории России XX столетия, итожит: «...во множестве расстреливаемые, и топимые целыми баржами, заложники и пленные: офицеры – были русские, дворяне – большей частью русские, священники – русские, земцы – русские, и пойманные в лесах крестьяне, не идущие в Красную армию, – русские <...> И если бы можно было сейчас восстановить, начиная с сентября 1918, именные списки расстрелянных и утопленных в первые годы советской власти и свести их в статистические таблицы – мы были бы поражены, насколько в *этих* (выделено автором. – И.Е.) таблицах Революция не проявила бы своего интернационального характера – но антиславянский. (Как, впрочем, и грезили Маркс с Энгельсом)»²⁶. Неужели всё это совершенно неизвестно литературоведу, который, оспаривая Тютчева, утверждает будто Россия и Революция «совместились»?

Когда Тютчев пишет, что от исхода борьбы между Россией и Революцией «зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества», то может показаться, что он явно преувеличивает *масштаб* противостояния. Однако, как верно замечает в комментариях к этой тютчевской статье Тарасов, по-своему классики марксизма вполне солидарны с русским мыслителем. Так, для Ф. Энгельса, например, «...на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны, Россия и абсолютизм, с другой – революция и демократия»²⁷. По его же убеждению, «...ни одна революция не только в Европе, но и во всем мире не может одержать окончательной победы, пока существует теперешнее Русское государство – по-настоящему ее единственный страшный враг»²⁸. Именно поэтому, по-видимому, и послереволюционная власть в советской России «при всей пестроте своего состава <...> действовала соединенно, отчетливо *антирусски* (выделено автором. – И.Е.), на разрушение русского государства и русской традиции»²⁹. Подобная разрушительная энергия «системно» проявлялась и в период «культурной революции». Например, в новейшем издании, где полностью воспроизводится наиболее репрезентативный советский песенник тридцатых

²⁴ Паперный Вл. Культура Два. М., 1996. С. 83.

²⁵ Солженицын А.И. Двести лет вместе. М., 2002. Т. 2. С. 274.

²⁶ Там же. С.93.

²⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1957. Т.9. С.15.

²⁸ Тарасов Б.Н. Комментарии // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 3. С. 319.

²⁹ Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т.2. С.211.

годов, современный читатель может ознакомиться с одним из его разделов, который представляет песни «безбожные»³⁰. Однако нет *ни одной из них*, которая не имела бы именно *антиправославного* содержания: посвященных другим конфессиям столь же «безбожных» песен попросту не представлено...

Бочаров не только по сути дела присоединяется к тем, кто возлагает всю вину за восточноевропейский коммунизм не на С.С.С.Р., а на Россию, но и – в соответствии с известными советологическими клише – именует С.С.С.Р. *империей*: «"Объединение с Россией" на имперской основе продолжалось с 1945 до 1989»³¹. Без всякого риска ошибиться, можно утверждать, что смысл каждого слова в этой фразе *противоположен* тютчевской аксиологии, а цитата из Тютчева только призвана затушевать эту *противоположность* ценностных ориентаций христианского мыслителя и его интерпретатора, а это, в свою очередь, совершенно искажает и интерпретацию тютчевской историософии. Для первой русской эмиграции – как раз в соответствии с *духом и буквой* тютчевской историософии – было очевидно, что С.С.С.Р. с его антихристианским духом и замыслом являлся духовным антиподом России (именно эту очевидность до сих пор почему-то не хочет признать ни Бочаров, ни его единомышленники). После сокрушения православной России антихристианской Революцией писать об «объединении с Россией» (именно с Россией!) восточноевропейских стран, по умолчанию предполагая безжалостное подавление мнимой «Россией» этих стран, да еще ссылаясь при этом на христианский «проект» Тютчева, может ли быть что-либо более выразительным примером абсолютного нечувствия литературоведа к предмету своего «ведения»? Перед нами классический случай *подмены* предмета. Что же касается советской «имперской основы», то, как справедливо напоминает Тарасов, «у самого поэта акцент ставится не просто на империи, а на законной, "христианской" империи, между которыми, по выражению Пушкина, есть "дьявольская разница"»³².

Поразительно, но в этом же сборнике Бочаров поместил свою беседу с потомками *русской* (не советской) эмиграции в Праге. Его собеседники говорили, к примеру, следующее: «Даже под немцами оставалась русская реальная гимназия (в Праге. – *И.Е.*) и детские сады... В 45-м году уже ее смели Советы, а не чехи»³³. Ни один из его пражских собеседников почему-то не «путал» С.С.С.Р. и Россию. С облегчением я обнаружил, что

³⁰ См.: Корниенко Н.В. «Сказано русским языком...»: Андрей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в русской литературе. М., 2003. С.360-431.

³¹ Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 311.

³² Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном контексте. С. 9.

³³ Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 582.

этим людям и Сергей Георгиевич не стал рассказывать о своей идее: реализации «Россией» христианского «тютчевского проекта» в послевоенной Восточной Европе...

Что же касается «политической» лирики, то в этой же работе Бочаров, сопоставляя тютчевский «Море и утёс» с пушкинским «Медным всадником», ставит правомерный вопрос: «Не то же ли море, не та же ли глубина и не тот же огонь?»³⁴. Должен в связи с этим заметить, что за двенадцать лет до этого вопроса и до сопоставления в указанном аспекте этих текстов я попытался тезисно осуществить то же самое³⁵. Ниже я повторяю свои тезисы двенадцатилетней давности, в которых «море», «глубина» и «огонь» рассматривались в присущем русской словесности христианском контексте.

В «Медном всаднике» для Евгения в равной мере враждебными оказываются как бушующая водная стихия, так и жестко усмиряющая ее неподвижная твердь, символом которой является «лик державца полумира». Однако же необходимо отметить, что бунт Евгения направлен не на «древнего душегубца», а именно на его усмирителя. Далеко не случайно Евгений в момент бунта становится *союзником* «разъяренных вод»: угрозу Петру «шепнул он, злобно задрожав» (ср. «...злые волны, / Как воры, лезут в окна»; «Ещё кипели злобно волны»). Герой изображается автором «как обуянный силой чёрной», тогда как Петр, напротив, ассоциируется в противоположном духовном векторе («строитель чудотворный»).

Водная стихия, которая сравнивается со *зверем* («...ревела, / Котлом клокоча и клубясь, / И вдруг, как зверь, остервенясь, / На город кинулась»), требует для себя столь же мощного противодействия и усмирения. Тогда как Евгений впадает в губительное оцепенение и бездействие, поддавшись «зверю»: «как будто околдован, / Как будто к мрамору прикован, / Сойти не может». Мы видим в данном случае именно *поражение*: побежденная некогда Петром стихия моря грозит взять реванш («Пред нею / Всё побежало, всё вокруг / Вдруг опустело»). Однако – это ясно уже из «Вступления» - реванш будущей стихии моря равнозначен *духовному поражению России*: устойчивость и неколебимость «Петра творения» именно та «твердыня» России, которая противостоит неуправляемой стихии – с ее «бездной», «мраком» и «мглой» («стой / Неколебимо, как Россия³⁶, / Да умирится же с тобой / И побежденная стихия»).

Не случайно *венчающая* «град Петров» «Адмиралтейская игла» - в отличие от «тьмы ночной» - «светла». В этом же духовном контексте дерзновенно реализованная

³⁴ Там же. С. 300.

³⁵ См.: Есаулов И.А. Мифопоэтика морской стихии в русской литературе (некоторые наблюдения) // Морской вектор в судьбах России: история, философия, культура. IV Крымские Пушкинские чтения. Симферополь, 1994. С.28-30.

³⁶ Ср. контрастирующее: «Всё побежало».

Петром возможность для России «Ногою твёрдой стать при море» означает предельное обострение жесткого противоборства света и тьмы.

Отсюда понятно, почему «волны» не только «злобные», но и *кипящие*:

Но торжеством победы полны
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь.

Перед читателем в этом месте поэмы приоткрывается скрытая до сих пор сущность морской «бездны»: это описание преисподней, которая грозит России. Петр, победив в свое время «стихию», тем не менее, *приблизил* Империю к своего рода точке бифуркации: «над самой бездной... Россию поднял на дыбы». Вряд ли случайно упоминание об *огне* в описании «гордого коня» Петра («А в сем коне какой огонь!»), равно как и озарение именно «луною бледной» (а не солнечным светом³⁷) Медного Всадника в видении Евгения.

В стихотворении Тютчева «Море и утёс» (1848), которое чаще всего сопоставляют с «Русским великаном» Жуковского и «Утесом» Бенедиктова, можно заметить ту же оппозицию земной тверди и «волн неистовых», проведенную с большей последовательностью³⁸. Помимо политического подтекста (море с «мутной пеной» - западноевропейская революционность, «утёс могучий» - символ великой России), очевиден и более глубокий подтекст, вытекающий из православной духовной традиции.

Стихия моря здесь осознается как стихия *бунта*, угрожающая самим устоям мироздания:

И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет и ревёт,
И до звёзд допрянуть хочет,
*До незыблемых высот*³⁹.

³⁷ Позднее семантика оппозиции солнечного и лунного света в отечественной литературе была развита в работе: *Есаулов И.А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 113-115.

³⁸ Имелись в виду два пушкинских стихотворения «Земля и море» (1821) и «К морю» (1824), которые в той же работе 1994 г. также были тезисно рассмотрены следующим образом. В «Земле и море» морская стихия явлена в двух своих контрастирующих вариантах: спокойном («... по синеве морей / Зефир скользит и тихо веет») и бурном («... волны по брегам / Ревут, кипят и пеной плещут / И гром гремит по небесам»). Если первая ипостась море всецело принимается лирическим героем, то вторая – ненадежна, неверна, а потому и опасна для человека («рыбак суровый» здесь «игралоце слепой пучины»). Тогда как «моря сладкий шум» в сублимированном виде все же проникает в «гостеприимные дубровы», но уже как «шум ручья долины». Рифмовка «пучины – долины» подчеркивает именно альтернативность грозного лика моря «надежной тишине» земли. Причем перенос авторской волей водного «шума» из финала первой части стихотворения в финал второй части (замена морского – речным, но именно как перенос-воспоминание) возникает и в стихотворении «К морю», где «грустный шум», «шум призывный» как «говор волн» звучит в принципиально не-морском контексте: «В леса, в пустыни молчаливы / Перенесу, тобою полн...»

³⁹ Ср. пушкинское соседство, в котором бунтующие волны («волны хищные толпились, / Бунтуя злобно...») текстуально сближены с противостоящим им Медным Всадником, «Кто неподвижно возвышался».

Показательна ценностная оппозиция *неподвижности* и *неизменности* «нашего великана» - утёса и *неистовости* натиска волн, характерная для православного сознания. «Утёс береговой» имеет значение *удерживающего* от адского натиска:

Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь *геенский* разложила –
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Почти буквальный повтор соседства воды и огня, как и особый звуковой регистр, передающий «бурный натиск» стихии («Вал морской / С ревом, свистом, визгом, воем / Бьет...») свидетельствует не столько о сознательной художественной ориентации Тютчева на пушкинский текст, сколько текстуально фиксирует общий православный подтекст русской литературы – в данном случае проявляющий себя в изображении морской стихии. Существенно, например, неявное сопоставление волны со *змеей* («Надоест волне *гремучей* / Воевать с твоей *пятой*»), хотя и отсылающее читателя к символике того же Медного Всадника, но и в этом случае имеющее общий мифопоэтический библейский исток: «оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пята».

Этот общий православный подтекст, как я могу добавить спустя двенадцать лет, может быть выявлен при помощи новых категорий филологического анализа, таких как соборность, пасхальность, христоцентризм, закон, благодать. Например, пасхальный архетип русской культуры⁴⁰ порождает такие несомненно существеннейшие для отечественной словесности *литературные* явления, как пасхальный мотив (в русской словесности становящийся лейтмотивом), пасхальный сюжет, пасхальный хронотоп, особый жанр пасхального рассказа, пасхальный роман. Их недопустимо редуцировать в литературной теории. Так, пасхальный сюжет представляет собой особый сюжетный *тип* - наряду с кумулятивным и циклическим. Игнорирование этого типа либо растворение его в лишенных христианской специфики предшествующих этапах культурного развития вольно или невольно приводит к характерному искажению истории литературы, когда *главное событие* истории человечества последних двух тысячелетий описывается с позиций *дохристианского* сознания и, тем самым, умаляется его настоящая роль, в том числе в развитии литературы.

Пасхальный сюжет имплицитно присутствует в тютчевских текстах. Это происходит, например, в стихотворении «Эти бедные селенья...». В завершающей строфе звучит особое – крестное – избранничество:

⁴⁰ См.: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Христос в тютчевском тексте вовсе не празднично-«рождественский», не Бог-дитя, но страдающий; «удрученный»; «в рабском виде». Его *страстная* крестная ноша, таким образом, как бы соразделяется Россией. В четырех финальных строках Тютчева мы наблюдаем в сконцентрированном виде целостный *пасхальный сюжет*: от крестных Страстей Христовых (ведь «удрученный» своей «ношей» Спаситель именно потому «в рабском виде» несет крест, что это путь на Голгофу) к пасхальному благословению России. Так *страдания* посредством благословения преобразуются в итоговую *победу*: в христианском контексте понимания эта победа может быть понята только как победа над смертью, Воскресение. Нелишне заметить, что в художественном целом произведения возможный *отказ* от этого спасительного благословения равнозначен не только отказу от принимаемых за Христа страданий, но и отказу от *креста*, отказу от духовного спасения; равнозначен отречению России от своей православной сущности.

Пасхальный архетип может обнаружить себя и в стилистике, отсылающей к дохристианскому античному мирозерцанию. В тютчевском стихотворении «Два голоса» первый голос манифестирует античное сознание, согласно которому, «борьба» человека именно потому «безнадежна», что итог жизни людей уже заранее известен: «Для них нет победы, для них есть конец». Поэтому упоминаются «могилы» уже умерших поколений борцов и молчание «светила», не предрекающие никаких перемен и для будущих поколений. Поскольку «бессмертье» античных богов здесь априори выше «труда и тревоги» смертных людей, боги в своем Олимпе «блаженствуют», не следя за людьми. Изнутри собственно античной культуры эту логику нельзя опровергнуть, как нельзя опровергнуть непреложность смерти. Однако второй голос выражает в той же античной стилистике иное представление о соотношении «борьбы» и «победы». Смерть, хотя и не упоминаемая, присутствует здесь в качестве неотменимого Рока людей, но непостижимым для античного сознания оказывается исчезновение равенства между смертью («концом» жизни) и поражением. «Победный венец», вырываемый из рук олимпийцев, символизирует как пасхальную победу, совершаемую в ином измерении, нежели земная жизнь (поэтому «немые, глухие гроба» уже не являются здесь знаками поражения борцов со смертью), так и говорит о кардинальном изменении вектора человеческой истории.

Подчеркну, второй голос отнюдь не зачеркивает логику первого (изнутри античной культуры невозможно опровергнуть ее доминантные установки), но он иначе передает соотношение земной смерти и конечной победы. Это историческое изменение символизируется самой последовательностью голосов: олимпийцы еще и потому «завистливым оком / Глядят» во втором случае, что время их культуры уже прошло: из властителей людских судеб они превратились в завистливых зрителей, созерцающих борьбу людей иной эпохи со смертью. Именно поэтому первая (последовательно античная) часть стихотворения «Два голоса» и заканчивается все же поражением людей в их борьбе («для них есть конец»), а вторая (передающая в античных «одеждах» имплицитно христианское сознание) – их пасхальной неотмирной победой.

Та *основа нравственной природы*, которую отмечал в русском народе Тютчев в цитируемом мной выше фрагменте его статьи «Россия и Революция», и имеет, прежде всего, *пасхальный* характер (отсюда и особо выделяемые Тютчевым способности к самоотречению и самопожертвованию, словно бы в подражание вольной жертве Христа).

Добровольная пасхальная жертвенность, как и небрежение земным, были использованы в советское, а затем и постсоветское время в антихристианских целях, когда, например, миллионы русских гибли, реализуя совсем не русские, а то и направленные против исторической России замыслы⁴¹. Можно сказать, что земная победа осталась за ее врагами. Но при этом сонм русских новомучеников укрепил воинство Святой Руси – и мы можем лишь догадываться о промыслительности земного поражения России в XX веке.

⁴¹ В «Категории соборности...» я приводил суждение А.И. Солженицына из его статьи «Размышления над февральской революцией», только что опубликованной тогда журналом «Москва» (1995. № 2): «...катилась революция – 15 лет. Российская революция закончилась в начале 30-х годов. И тотчас была почтительно признана китом западной демократии – Соединёнными Штатами». Сейчас же уместно заметить, что не только Тютчев использует заглавную букву, подчеркивая особый «антихристианский дух» Революции, но и Солженицын, говоря о сокрушившем государственность России революционном Поле, также использует заглавную букву. О помрачении же вездесущими «силовыми линиями» этого Поля национального сознания в России (впрочем, не затронувшем, как подчеркивает тот же автор, девять десятых населения страны – его «немного большинства», и ставшего вскоре жертвой Революции) свидетельствует и недавнее обсуждение этой статьи Солженицына в редакции «Российской газеты», когда неожиданно выяснилось, что и к 2007 г. для теперешнего директора Института Российской истории РАН продолжают оставаться весьма авторитетными как суждения В.И. Ленина из его «Апрельских тезисов», так и излюбленные целыми поколениями советских идеологов запальчивые высказывания В.Г. Белинского об атеистической сущности русского народа (см.: <http://www.rg.ru/stenogramma.html>). Совершенно ясно, что при подобной аксиологической установке нынешней постсоветской квазиэлиты вряд ли будут адекватно восприняты как раз словно *подтверждающие* давние тютчевские пророчества горестные слова Солженицына из этой же работы: «Теперь мы видим, что весь XX век есть растянутая на мир та же революция. *Это* (здесь и далее выделено автором. – И.Е.) должно было грянуть над всем обезбожившим человечеством. *Это* имело всепланетный смысл, если не космический». Нужно, очевидно, вслед автору, согласиться с о. Сергием Булгаковым, что в сокрушении России Революцией «...тайна, верую надо склониться».